

шлого (Одесса, 1918 год)", "20-й год, Одесса" (о знаменитом одесском "Коллективе поэтов", в котором она также участвовала), и автобиографическая повесть "Дети с Княжеской" — ибо на Княжеской улице в доме 12 прошли ее детство и юность.

К столетию писательницы в одесской газете "Слово" был напечатан очерк В. Нертебского "Дети с Княжеской и другие". А в 2009 году — к 110-летию — о замечательной одесситке вспоминает альманах "Дерибасовская — Ришельевская".

Эрик ГЕРНЕТ*

Нина ГЕРНЕТ

Неизвестная в белом

В ставнях длинная щель. Перезезана пополам железной задвижкой. А снаружи напирает солнце, хочет разорвать ставни, хлынуть в комнату, залить ее до потолка! Но задвижка держит. Солнце только просачивается в щель, льется с высоты на пол светлой струей. Как сумасшедшие, толкутся в золотом потоке мельчайшие козявки. Знают, что их теперь видно, — радуются, крутятся, выкомаривают — себя не помнят.

Нинка обводит комнату еще сонным взглядом. Все знакомое. Все, как всегда.

Птицы уже орут, как недорезанные. Такие маленькие существа, а крик ужасный.

Нинка схватила платье — и ахнула. На боку — пятно. Огромное помидорное пятно. Ну, конечно, Вовка оставил недоеденный помидор на табуретке. А Нинка не заметила, бросила платье. Попадет от мамы.

Мама все разрешает — всюду лазить, играть с мальчишками, даже возиться в глине — но только в платье, которое не жалко. А вчера платье "не жалко" прямо с порога было отобрано и брошено в стирку. И выдано вот это, белое: "Можешь ты хотя бы один день походить в цивильном и не замазюкать?" — спросила мама. Нинка пообещала. И вот тебе на!

Она сокрушенно щелкнула языком. Накинула платье, посмотрела. Э, чепуха, если прижать локтем — почти не видно.

Жучка негромко гавкает под самым окном. Нинка распахнула ставни. Воздух, холодный, душистый, ворвался в комнату. Нинка вылезла в окно.

Завизжала в истерике Жучка, кидаясь на Нинку. Каждое утро сходит с ума от радости. Она уже поднадоела Нинке своими истериками, но оби-

* Автор статьи — Эрик Михайлович Гернет, сын писательницы Нины Гернет.



Нина Гермет. 1909 г.

Она медленно шлепает по воде у самого берега, нагнув голову, и старательно смотрит под ноги. И вдруг, как хищная птица, кидается, хватает.

— Сапфир, — замирая, бормочет Нинка и прикладывает к глазу осколок голубоватого стекла. Ничего не видно. Море обтерло стекло, сделало его матовым. — Чистой голубой воды сапфир, — с удовлетворением шепчет Нинка и прячет найденную драгоценность в карман. Для начала неплохо.

А вот это... это не каждый день увидишь. Вот это — случай! Над берегом, в ста шагах впереди, сидит художник. Соломенная шляпа, острая борода — это Нилус, художник очень знаменитый. Вероятно, он тут гостит у кого-то. Перед ним стоит мольберт — художник рисует.

Нинка впиивается глазами в художника. Она напустила на себя вид "молодая девушка на утренней прогулке" и пошла к художнику, небрежно покачиваясь. Она любовалась окрестностями; смотрела на облака, заслонив ладонью глаза, а когда подошла близко — "задышала полной грудью".

"Юная леди шла медленно, дышала полной грудью и, казалось, не замечала устремленных на нее восторженных взглядов".

Художник не обращал внимания. Нинке стало досадно. Она прошла мимо, деликатно нюхая пыльный лиловый бессмертник. Потом круто повернула и стала подкрадываться к художнику со спины. От юной леди ничего не осталось. "Молодая индианка скользила, как горный дух. Ни один камешек не шевельнулся под ее легкой стопой".

жать ее неудобно — она же от всего сердца! И Нинка из одной вежливости разыгрывает каждое утро нежную, трогательную встречу.

Потом она сбегает к морю.

Море лежит перед Нинкой, блестящее, неподвижное, будто политое маслом, — такая тишина бывает только ранним утром. Солнечная тропинка, переливаясь, тянется к горизонту. Вокруг нее лежит на воде легкая дымка. Особенное, соленое дыхание моря.

Сегодня сильный отлив. Зеленые бородатые камни высунули головы из воды. Нинка отправляется в рейс за "драгоценностями".

Нинка увидела такое, что дух у нее замер. Художник рисовал их собственный, Нинкиной дачи берег, их собственную некрашеную купальню и уже начал лесенку, ведущую в воду.

Нинка прижала руки к груди. Сердце колотилось. Она тихонько выбралась из кустов и по тропинке галопом понеслась обратно.

— Только бы успеть... Только бы успеть...

Задыхаясь, остановилась Нинка на лесенке купальни. Мысли прыгали в лихорадке.

"Руку небрежно на перила. Задумчивое лицо... Проклятое пятно! Миленький, хороший, нарисуй! Не шевелиться. А то они не могут нарисовать. Я буду как каменная. Нарисуй же, нарисуй, нарисуй! Ветер треплет непокорные золотые волосы..."

Но ветру нечего было делать с Нинкиными волосами — все, что можно, было растрепано раньше.

Локтю было больно на жестких перилах. Вытянутая шея ныла. Рука вдавила в бедро проклятое помидорное пятно. Возле носа страшно чесалось. Но Нинка не смела поднять руку. Она знала, что даже моргать нельзя, — "а то они не могут нарисовать".

"Она стояла во всем белом и в глубоком раздумьи смотрела на беспредельный простор синего моря".

Когда стоять стало совсем неважно, Нинка сорвалась с места и, спотыкаясь от страха и надежды, понеслась к художнику. Камни гремели под ее ногами — ей теперь было все равно.

Совершилось! На лесенке купальни виднелась крошечная белая фигурка. Правда, художник не нарисовал выражения "глубокого раздумья" на лице, потому что и лица-то настоящего не было. Но это была она, Нинка, "во всем белом".

Раздавленная своим величием, Нинка возвращалась домой. Пережитое волнение разбило ее. Она еле передвигала ноги.

"Портрет девушки... Кисти знаменитого художника... Кто она? Кто эта девушка в белом?"

Нинка горько усмехнулась. Она — "неизвестная".

Из дома вышла мама в цветастом пеньюаре. Глаза ее округлились от ужаса:

— В чем у тебя платье? Это же свиньи, а не дети!

— Было незаметно. В уменьшенном виде, — снисходительно обронила Нинка и прошествовала к своему окну.

1920-й год, Одесса

1920-й год. Голодный, нищий. Солнечное лето. Садовую улицу пересекала за почтамтом улица Петра Великого — она же бывшая Витте, бывшая Дворянская. Как она называлась в 1920-м году, — не помню. Только на ней, между Садовой и Нежинской, была квартира, вернее, темноватая комната, где собирался "Коллектив поэтов". Кто мне сказал об этом, — не помню, вернее всего, Оля Улицкая, моя подруга, которая тоже писала стихи.

Мы пришли. Никто не обратил на нас особого внимания. Много было разных людей. Сидели и слушали стихи. Выступал кто хотел. Только после, во время других собраний, я узнала, что там были большие поэты и писатели. Знай мы с Олей это заранее, может, мы бы не так смело заявили со своими стишками, а может, и совсем бы не решились... Как бы то ни было, не то в первый, не то во второй раз я впервые в жизни обнародовала свое литературное произведение. До сих пор помню его наизусть, хотя много юношеских стихов забыла и потеряла.

Рожок привычно нежит слух.
Встречаю утро у колодца,
Покамест заспанный пастух
За стадом на луга плетется.

И радостно снопы возить
Под бесконечно синим небом,
И лошадей из рук кормить
Посоленным душистым хлебом.

А на жнивах, в палящий зной,
Над нивой ласково склониться;
Томясь под ношей золотой,
Передохнуть остановиться...

Когда ж в трудах угаснет день,
И на крыльце сидим без дела —
Тогда благословенна лень
И нега ноющего тела!

Вечерним солнцем воздух пьян
Над покосившейся калиткой,
И сливок розовых стакан
Небесным кажется напитком!

Первой реакцией, не успела я кончить, был вздох из дальнего угла и тоскливая фраза:

— Так он и есть небесный...

Это был 20-й год. Голодный. Может, потому и я про сливки писала.

Похвалили, в общем. Потом я прочитала стихи, посвященные Ахматовой, — тогда она и Блок были любимыми поэтами. Мы ловили каждую строчку, повторяли и заучивали. До сих пор я помню наизусть массу стихов из "Белой стаи", "Подорожника". Кажется, первую строфу я забыла (не помню даже, была ли она), а конец помню.

Сестра, я знаю, ты в цепях,
У Понедельника в подвалах.
Рыдаю я в моих стихах,
А ты — и плакать перестала.

Какую ж муку приняла,
Какою цепью грудь сдавила,
Чтоб даже плакать не могла,
Чтоб даже песни позабыла?

Сейчас мне это стихотворение кажется не только слабым, но и нахальным: лезть в сестры — к кому! Но судьбы мои на это не обратили внимания. Им понравился образ жестокого Понедельника. Так что ободрили, погладили по головке. И стала я ходить на эти собрания. А когда кто-то предложил привести в порядок эту комнату (она, видимо, была ничья, бесхозная, из брошенной квартиры) — мы с такой охотой пришли с тряпками и метлами, как, верно, ни на какой субботник не ходят. Наша комната!

Собирались по вторникам. И слушала я разговоры о неопушкинианской школе, которая тогда владела поэтами. А какие поэты приходили и читали!

Олеша. Спокойный, медлительный, немногословный. Ужасно жалко, что не запомнила больше его стихов. Но ведь ничего не записывалось, все, что помню, — оставалось в памяти с одного чтения — много ли могло уцелеть за столько лет? Олеша читал:

Двадцатый век, как низко пал ты!
Изнеможен, теряя дух,
Бредешь от Жлобина до Балты
И от Борщей до Попелюх...

А выходил Багрицкий — в штормовке, в солдатских обмотках, худой,
нервный, — и торопливо, светлым, задыхающимся голосом читал:

И белой яхты легкий крен,
И тихий образ милой Джен...

Или:

Каждый день туда приходит
Королевский конный рейтар.
Перья сокола на шляпе,
И в раструбах сапоги.
Требует он кружку пива,
С талера не просит сдачи
И глядит, глядит на Марту,
Да покручивает ус...
Марта, Марта! Нужно ль плакать,
Если Дидель свищет птицей,
Если Дидель бродит в поле
И смеется невзначай...

А самая убежденная представительница неопушкинианской школы,
молодая Зинаида Шишова, читала с подпеванием:

Я знаю — времена бывали —
Счастливейшие из времен, —
И у источника видали
Нежнейших девушек и жен.
И пахли в час перед полуднем
Соленой влагою морей
Покорные высоким будням
Ладони царских дочерей...

Худой высокий Ильф обыкновенно садился на низкий подоконник,
за спинами всех. Медленно, отчетливо произносил он странные, ни на ка-
кие другие не похожие стихи, которые нравились мне именно этой стран-
ностью формы и поэтических образов:

...Комнату моей жизни
Я оклеил мыслями о ней...

Или:

А мы, в костюме Адама до грехопадения,
Прикрыв неприличие шевиотовой эманацией...

Сохранились ли где-нибудь, у кого-нибудь из его тогдашних товарищей эти стихи? А я больше ничего не помню.

Марк Тарловский. Впечатление чего-то лохматого, громкого, задорного. И вот какие стихи:

Бриллиант, сверкающий в небе,
Бриллиант чистой воды!
Безмерно великолепен
Прожектор ночной звезды!
Он так лучезарно светел,
Что будто бы видит глаз,
Как лижет огненный ветер
Поверхность бурлящих масс.
Что, если взорвавшись разом,
Он брызнет миллионом брызг?
Такой космический казус
Для всех нас чертовский риск!
На землю свалится брызга
В три солнца величиной!
Она не услышит писка
И нашего крика: "Стой!"
Мы скопищем ярких капель
Ворвемся в поток огня.
Я буду гореть, как факел,
И все увидят меня!

И вот еще:

Полумесяц поднялся сонно
И достиг макушки небес.
Он казался куском лимона,
Что от чаю слегка облез.
Он увидел большую церковь,
И, боясь провалиться вниз,
Встал над самым церковным верхом,
На конец его опершись.
Это было для церкви срамом,
Это ей принесло ущерб:

Разве можно над русским храмом
Водружать мусульманский серп?
Нет, христиане! Мы всем народом
Ощетиним винтовок лес,
И пойдем крестовым походом
На султана ночных небес!

Однажды, уже вечером (сидели до темноты, света не было — разве коптилка) явился мальчик. По-моему, было ему 12-13 лет. Громко и уверенно начал что-то читать, не помню что — неинтересное для меня, видно. Кончил. Все помолчали. Потом кто-то из старших спросил его: как он относится к Пушкину? Точного ответа мальчика не помню, но смысл был такой, что Пушкин кончился и нам не указ. Все молчали. И вдруг из темного угла, от окна, где сидел Ильф, раздался спокойный, ровный голос:

— Пошел вон.

Мальчик был Семен Кирсанов. Он не пошел вон, а стал таким же участником сборищ, как и мы все.

Помню аристократического, выдержанного Георгия Шенгели, который вел литературные споры. Читал ли он стихи, и какие — не могу припомнить. Бывал и Андрей Соболев. Длинноволосый Миних. Сосюра, читавший длинные украинские поэмы или баллады...

Кажется, по инициативе этого же "Коллектива поэтов" было организовано кафе поэтов. Не то возле какого-то иллюзиона "Урания", не то оно само называлось "Урания"...

Помню, что это была терраса, что единственное угощение было — жестяные миски с черным не то желудевым, не то житным кофе, и, кажется, к мискам давались столовые ложки. В глубине террасы была небольшая эстрада, и вот там выступали поэты для всей публики, и даже происходили литературные диспуты.

Помню, Олеша произнес эпиграмму:

Не будем говорить о свиньях,
Когда стихи читает Миних.

Разъяренный Миних тут же вихрем ворвался на эстраду и выкрикнул:

Когда ж читать начнет Олеша —
О свиньях будем говорить!

Чем кончилось — не знаю, шум поднялся со всех сторон.

И был у нас гимн — "Четвертый пэон":
Четвертый пэон — это форма стиха,
А всякая масса без формы плоха,
А так как стихов у нас масса,
То форма нужна ей, как мясо.
Вперед, товарищи!
И без формальности
Оформим форму мы без платформ.
Вперед, товарищи! До идеальности
Нас доведет лишь строгость форм!

— — — — —

— — — —

— — —

